

Павел Мельников-Печерский

# Красильниковы



*Часть сборника  
Княжна Тараканова и принцесса  
Владимирская (сборник)*



# Павел Иванович Мельников- Печерский Красильниковы

*Текст предоставлен правообладателем  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=2377475](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2377475)  
Княжна Тараканова и принцесса Владимирская : повести,  
рассказы, письма, очерк / Павел Мельников (Андрей  
Печерский).: Эксмо; Москва; 2011  
ISBN 978-5-699-52030-5*

## **Аннотация**

«В уездном городе С. остановились мы посмотреть на известные кожевенные заводы Красильникова. Нетрудно было отыскать дом богатого заводчика, каменный, двухэтажный, лучший во всем городе; стоит он недалеко от древнего собора, обезображенного пристройками в «новейшем» вкусе...»

# Содержание

I	4
II	23

# Павел Иванович Мельников-Печерский Красильниковы *Из дорожных записок*

## I

В уездном городе С. остановились мы посмотреть на известные кожевенные заводы Красильникова. Нетрудно было отыскать дом богатого заводчика, каменный, двухэтажный, лучший во всем городе; стоит он недалеко от древнего собора, обезображенного пристройками в «новейшем» вкусе.

В верхнем жилье, в окнах с цельными зеркальными стеклами стояли незатейливые гипсовые изображения Вольтера, Суворова, поднявшей чуть не выше головы правую ногу Тальони, зеленого попугая с коричневым носом и разноцветной кошки, с головой, качавшейся при малейшем прикосновении. В среднем окне виднелись дорогие бронзовые часы, а стекла других залеплены были вырезанными из цветной бумаги подобиями лошади и чего-то вроде буквы Ф., с раз-

двоенным нижним концом и трехуголкой с перьями наверху. В нижнем жилье в окна вделаны были толстые железные решетки, а стекла сплошь выбиты. На цоколе красным карандашом в несколько рядов писаны бирочные знаки: кресты, кружки, черточки – открытая на весь мир расходная книга приказчика, отпущавшего кому-то опойки.

Ворота были заперты. Я стукнул тяжелым железным кольцом о дубовое полотно калитки: раздался сильный лай цепной дворняжки, и в подворотне показались три собачьи морды, скаля зубы и заливаясь глухим ревом. Щеколда изнутри стукнула, и краснолицая, курносая девка-чернавка, вершков одиннадцати в отрубе, одетая в засаленный московский сарафан из ивановского ситца, просунулась до половины и спросила нас:

– Кого вам надоть?

– Корнила Егорыч дома?

– А отдыхает: сейчас пообедамши.

– Когда его можно застать?

– А не знаю же я... Да вы откелева будете?

– Из П...

Я назвал губернский город.

– По кожу аль по сало?

– Нет... Так, нужно хозяина повидать. Когда застать-то?

– Не веду. Спросать разве Марью Андревну, коль не започивала.

Заперла девка-чернавка калитку, ушла. Воротясь минут через пять, сказала:

– В вечерню приходите, не то завтра после ранней обедни.

– Ну, завтра так завтра.

Мы с путевым товарищем хотели было идти на постоялый двор, где остановились за неимением в С. гостиницы; но девка-чернавка еще раз спросила нас, должно быть, для удовлетворения собственного любопытства:

– А сами-то вы из каких будете? Приказчики, что ли, чьи?

– Нет, не приказчики.

– Кто же вы?

– Чиновные.

– Из судов?

– От губернатора.

Это слово имело чародейную силу: не прошли мы ста сажень, как за нами послышались крики:

– Обождите-ка, воротитесь-ка! Корнила Егорыч вас кликнуть велел.

Босоногая девка-чернавка бежала во всю прыть. Ее перегоняли собаки, одна вцепилась в полу моего спутника.

– Лыска! Лыска! цымате! Экой пострел, кабан проклятый! – кричала изо всей мочи девка-чернавка.

И, схватив валявшуюся на улице слегу, принялась колотить направо и налево косматых стражей Корнилы Егорыча. Собаки завизжали и побежали домой. Путеводимые спасительницей от их ярости, вошли мы на двор Красильникова, обошли парадное крыльцо, где обглоданные мослы и сбитое сено указывали на жительство врагов наших, и теперь еще исподтишка бросавшихся под ноги. Обогнув угол дома, по заднему крыльцу вошли мы наверх, нагибаясь под протянутыми веревками, развешанными для просушки белья. По всему двору крепко пахло дегтем и кожей.

Темными закоулками провела нас девка-чернавка в обширную комнату – в «залу» и, молвив, что хозяин сейчас выйдет, ушла.

По убранству комнаты видно было, что Корнила Егорыч – человек домовитый и, разбогатеv, из кожи лез, чтоб на славу украсить жилище свое: денег не жалел, все покупал без разбору, платил втридорога, и все невпопад. Отделав стены под мрамор, раззолотил карнизы, настлал дубовый мелкоштучный паркет, покрыл его шелковыми коврами, над окнами развешил бархатные занавеси, а на стену наклеил литографию Василья Логинова, в углу повесил клетку с перепелом, а на окнах между кактусом и гелиотропом в по-

пуразбитых чайниках поставил стручковый перец да бальзамин. Мебель в гостиной за дорогую цену куплена была в Петербурге да еще наперебой с каким-то вельможей; но сшитые из поношенного холста с крашенными заплатами чехлы снимались с нее только в светлое воскресенье да в хозяйские именины. В великолепных лампах, расставленных по столам и по углам, масла сроду не бывало, да во всем С. и зажигать-то их тогда еще никто не умел.

Непривычно Корниле Егорычу ходить по мелкоштучному паркету, не умеет он ни сесть ни стать в комнатах, строенных не на житье, а людям напоказ, робеет громко слово сказать в виду дорогих своих мебелией. Душно ему в своем доме, сбылась над ним пословица: «Своя воля страшней неволи». Осторожно пробираясь меж затейливыми диванами и креслами, ровно изгнанник, бежит Корнила Егорыч из раззолоченных палат в укромный уголок, чужому человеку недоступный. Там на теплой изразцовой лежанке ищет он удобств, каких не сыскать в разубранных комнатах. Вот у лежанки стоит сосновый, крепкой водкой травленный стол под ярославской салфеткой; на нем счетная книга, псалтирь и «Московские Ведомости»; у стола стул-складень; привык к нему Корнила Егорыч, еще сидя мальчишкой в чужой лавке. Вот двуспальная кровать с пуховиком чуть не до потолка и с



дюжиной подушек: крепко спится на ней Корниле Егорычу. Вот кафельная печь с поливными фигурами ба-лахонской работы: ровно баню, греет она заветный угол хозяина и приглядней ему беломраморных стен залы и бархатных обоев гостиной. А часов с кукушкой, что повешены против кровати, не отдаст он за две дюжины дорогих часов, что на мраморном подставе красуются у среднего окна гостиной. Добровольно, но подчас с досадой, жметя Корнила Егорыч в тесной мурье – хватил бы все по боку и зажил бы как хочется – да нельзя!.. Как от людей отстать? Попал в стаю – лай не лай, а хвостом виляй... Еще скрягой прозовут. Зато раз отведена была у него квартира для губернатора. На прощаньи генерал сказал хозяину: «Ну, Корнила Егорыч, домик-то у тебя на славу отделан – мебель хоть во дворец». И счастлив и доволен был Корнила Егорыч и сторицей вознагражден за досадные минуты, когда, проходя бочком мимо дорогих мебели, думает сам про себя: «И на какой шут, прости господи, такие стулья наделаны? Сесть порядком нельзя – без сноровки провалишься совсем».

Не странно в зале Корнилы Егорыча встретить и логиновскую литографию, и стручковый перец, и перепела в клетке из лутошек. Дороги они хозяину, добровольному заточеннику в золотой тюрьме своей. Вспоминали они ему былое, бедное, но свободное от

несродного житья-бытья время – время молодости, когда жилось веселей, а на свете божьем было просторней и все смотрело ясней и радостней. Кроме перепела да перца, остальное было чуждо, несродно хозяину: здесь ему и свое не свое, здесь и сам он ровно на выставке – миру напоказ. Ничего для себя; все для чужих; даже гипсовых Вольтера с попугаем поставил он передом на улицу.

По лицу вышедшего к нам Корнилы Егорыча видно было, что могучее слово «от губернатора» оторвало его от дорогой лежанки. Заметно было, что одевался он наскоро; золотых медалей однако ж не забыл надеть. Это был широкоплечий старик среднего роста, волосы совсем почти белые, борода маленькая, клином, глаза подслеповатые, но живые, выразительные. По суровому облику его видно было, что это старик своеобычный, крутой; а россыпью глядевшие глаза обличали в нем человека, что всякого проведет и выведет. Но в этом хитром, бегающем взоре крылась какая-то грусть затаенная. Туманилось лицо Корнилы Егорыча горем душевным, еще не выношенным, не выстраданным. День меркнет ночью, человек печалью, а горе, что годы, борозды по лицу проводит. Казалось, и Корниле Егорычу не годы убелили голову, а душевное горе. Оно не молодит, а косицу белит.

– Покорно просим! – сказал Корнила Егорыч. – Из-

вините, позадержал: соснуть было прилег.

И, при воспоминанье о лежанке, зевнул, набожно перекрестив рот. Мы извинились, что потревожили его, сказали свои имена и показали открытый лист начальника губернии, где было сказано, что приехали мы из Петербурга от министра внутренних дел для собрания статистических сведений. После того я попросил хозяйского дозволения взглянуть на его кожевенный завод.

Без чашки чаю, без рюмки вина, без закуски от русского купца старого закала никому не уйти. Старинное хлебосольство не чуждо было и Корниле Егорычу. На столах появились вино, закуска, разные сласти. Приказчик, стриженный в скобку, в длиннополой суконной сибирке с борами назад и с сильным запахом кожи, подал чай. Речь шла про торговлю.

– Кожа плохо пошла! – говорил Корнила Егорыч. – В прежние годы в одну Одессу мы втрое больше ставили, в Ливурну оттоле возили; теперь стало дело, да и шабаш.

– Отчего ж так, Корнила Егорыч?

– Сырьем повезли. У иностранцев, я вам доложу, на этот предмет руки золотые – не нашим чета. Наш брат русак сметкой взял, а немец – терпеньем. Да в нашей-то сметке горе проявилось, да не одно, целых три... Русский человек на трех сваях стоит: авось,

небось да как-нибудь. Нам бы тят-ляп и корабль, а там – нет-с, там на этот счет все в аккурат... К примеру хоть кожа: что наша русская кожа? Вон на дворе партия юхты лежит, – на Урюпинску заготовил – раз-валяйте-ка воз: тут подрез, тут гниль мясная, а тут и все дырье... Отчего?.. Оттого, что платишь рабочему поштучно, он тебе и делает как-нибудь, одно норовит: больше бы кож обрядить... Да как пошел ножом сплеча валять, тут ему не до подрезей. Небось, говорит, хозяин не заприметит. А хозяин, наш брат, не в печку же ему бросать порчену кожу: авось, думает, на ярмонке сбуду. А как работник-от делает как-нибудь да хоронится за небось, да как и хозяин-от на авоське в ярмонку выезжает – добра не жди. Правду надо говорить!.. Вот за границу наша кожа и нейдет, а сырье иностранцы с руками готовы рвать. Из русского сырья они такую тебе кожу сработают, что нашей-то в нос кинется. Вот отчего, сударь, стала наша кожа. Красна юхта покуда еще идет – это особь статья, эта завсегда пойдет; у нас березы-то не занимать статью, а за границей чуть не каждый сучок на перечете.

– Как же сбыт юхты зависит от березы?

– Березы нет – дегтю нет; а без дегтю хорошей юхты не сделать.

Перешел разговор на смуты, возникшие в то время на Западе.

– В Венгрии, кажется, война будет, – сказал я: – для тамошних войск кожа потребуется, нашей попросят...

– Пуда не попросят. Пошли бы туда наши кожи, ежели бы там шла война по божьему велению, стал бы царь на царя, закон на закон. Тогда бы пошла...

А теперь что там? Законная разве война... Бунт бо-гопротивный, усобица... Подерутся и босиком!..

Таковы были речи Корнилы Егорыча. А учился за медну полтину у приходского дьячка, выезжал из своего городка только к Макарью на ярмонку, да будучи городским головой, раза два в губернский город – ко властям на поклон. Кроме Псалтиря, Четьи-Минеи да «Московских Ведомостей» сроду ничего не читывал, а говорил, ровно книга... Человек бывалый. Природный, светлый ум брал свое. Заговорили о развитии торговли и промышленности.

– Чтоб дело торговое шло, – молвил Корнила Егорыч, – надо, чтоб ему не делали помехи, а пуще того, чтоб ему не помогали, на казенну бы форму не гнули. Не приказное это дело: в форменну книгу его не уложишь. А главная статья – сноровка... Без сноровки будь каждый день с барышом, а век проходишь нагишом. А главней всего – божья воля: благословит господь – в отрепье деньгу найдешь; без божьего благословенья корабли с золотом ко дну пойдут.

– Так, Корнила Егорыч, слова нет на вашу речь: бо-

жье благословенье первое дело; но, кажется, вы еще одно позабыли.

– А что ж такое?

– Науку, просвещение.

Нахмурился Красильников, помолчал и такую речь повел:

– Просвещение!.. Это что в книгах-то пишут?.. Эх, сударь, мало ль что пишут да печатают! Супротив печатного не соврешь. Перо скрипит, бумага молчит да все терпит... Вот, примеру ради, промысла хоть, что ли, взять? Пишут да печатают, что в гору они пошли... Речи нет, прытко идут, шагают широко, да не так, как пишут. Не в ту силу говорю, что наша промышленность тише идет супротив того, как про нее печатают: нет-с, может, она и попрытче того идет, – а про то я говорю, что пишут-то нескладно, неладно, ровно черт шестом по Неглинной... Вот в «Ведомостях» как-то раз я про наш уезд вычитал. Пишет какой-то барин – видно, такой же, что и вы: тоже сведения собирал, – пишет, что в запрошлом году и скота у нас стало больше и крестьянский промысел в гору пошел; а видно-де это из того, что на базарах скота больше продано, сaney и всякого другого крестьянского изделия.

– Что ж, Корнила Егорыч? Разве базарная торговля не может показать степень крестьянских промыслов?..

– Вряд ли, сударь!.. По-нашему, не может... Вот хоть бы нашу сторону взять... Сторона гужевая: от Волги четыреста, от Оки двести верст, реки, пристани далеко – надо все гужом. Вот в запрошлый год и уродились у нас хлеба вдоволь, а промысла на ту пору позамялись... Мужик волком и взвыл, для того, что ему хлебом одним не прожить... Крестьянско житье тоже деньгу просит. Спаси, господи, и помилуй православных от недорода, да избавь, царю небесный, и от того, чтобы много-то хлеба родилось.

– Как так, Корнила Егорыч?

– Да так-с. Мы люди простые, зато седьмой десяток доживаем – всего насмотрелись. Привел господь смолоду, когда еще в бедности находился, и голод изжить: макуху, дуранду, мезгу сосновую ели. И урожаи видал. Так уж я и знаю, что перерод хуже недорода, что здешнему гужевому крестьянину не то беда, что гумно не полно, а то горе великое, ежели работа замнется, промыслу не хватит, да на ту пору хлеб в низкой цене станет. В запрошлый год хлеб-то здесь по полтине был ассигнациями. Серебряный пятиалтынный, значит, без семитки... Подушные мужику надо платить: вези, значит, три воза за двести верст до пристани, – для того, что по осени да по перевозимце на месте покупателей ни души. Ну, и вези да считай, много ль дорогой-то денег-то прохарчишь... Да что пода-

ти?.. Подати у нас, слава богу, не больно еще тяжелы; так ведь не на одне подати мужику деньги нужны: надо упряжь справить, надо кушак купить, шапку, платок жене, в храмовой праздник винца хлебнуть, а там еще свадьбы да родины, молебны да крестины, поп с праздничным придет – ему хлеб-от хлебом, а деньги деньгами. А как в урожайный год хлеб-от подешевеет да промыслы-то ухнут, и нет их совсем, заработки-то пойдут дешевые, у мужика из рук все и отобьется. А на ту пору староста в окошко стучит: «оброк, говорит, подавай». – «Денег нет». «Давай, говорит, срок пришел, а нет денег, так корову продавай...» Повел мужик телку, повел другой снова телку, повел третий бычка. На базаре их сосчитали да в «Ведомостях» и припечатали: «Скота-де у них расплодилось»... Прошел месяц-другой, опять староста у окна. – «Денег нет», говорит ему мужичок. А староста ему на ответ: «у тебя две телеги – нову-то продай». Повез мужик телегу, повез другой сани, повез третий дровни – на базаре их сосчитали, а ваша милость, что сведения-то собираете, и хватъ в «Ведомостях» – «промыслы-де у них в гору пошли»... Не в ту силу, говорю, что здешнему мужику жизнь горемычная. Год на год не приходит: одно лето перетерпит, на другое за три наверстает. А в ту силу говорю, что ины книги ровно шайтан помелом в трубе написал. Год-от перерода минет, на хлеб ста-



нет цена хорошая, промыслы поднимутся, глядишь – справился мужик: скотом обзавелся, сбруей, и в мошне не пусто стало. В зимнице три-четыре коровушки, под навесом две-три телеги, и как староста под окно придет, оброк-от ему платить есть из чего. А на базаре ни коров, ни телег, ни саней, что в прошлом году нужда вывозила. Подметят господа, что книги печатают, да, не справясь со святцами, – бух в большой, скота-де стало меньше: видно-де, падеж у них был, да и промыслы упали, должно-де быть, народ обеднял... Обеднял!.. Как же!.. Лежит себе на печи да бражку потягивает.

Станным казалось мне уклоненье Корнилы Егорыча от прямого разговора. «Что б это значило? – думалось мне. – Начал за здоровье, свел за упокой». Опять наклонил я речи на прежний предмет, опять сказал, что для успехов торговли надо купцам учиться и учиться...

– В ниверситете, что ли-с? – с горькой, но задорной усмешкой возразил Красильников. – Нет-с, увольте, ваше высокородие!.. Покорнейше благодарим-с!.. Знаем мы! Это дело, сударь, ваше – барское, а нашему брату оно не по шерсти. Из нашего брата, из купечества, это тому пригодно, кто думает сыновей в дворяне выводить, а нам – нет-с, увольте!., да и проку мало, ей-богу, мало. Дед, отец копят деньги, ско-

пят капитал, большие дела заведут, миллионами зачнут ворочать, а ученый сынок в карты их проиграет, на шампанском с гуляками пропьет, комедиянткам расшвыряет, аль на балы да на вечеринки... Глядишь – и пошел Христовым именем кормиться. Да это бы еще не беда... А как разум сгинет, как... Прохора Андреича Крапивина – извольте знать?.. В Москве суконная фабрика у него была. У него сынок-от ученый... В чинах был, в каретах ездил, на дворянке женился да как профуфынился – из ружья себя и застрелил... Вот-те и чины!.. Вот-те и ученье!.. Душеньку-то свою не убе-рег, самому сатане ее на руки отдал...

– Не говорю я, Корнила Егорыч, чтоб молодые купцы, выучившись, оставляли свое звание и проматывали отцовские капиталы. Дельное, правильное ученье научит быть бережливым, научит и уважение иметь к сословию, в котором родился. Теперь у нас слава богу...

– Не говорите!.. Мне-то этого не говорите!.. Купцу ученье – пагуба, вот что!.. У меня у самого... Да позабавьтесь финичками-то, ваше высокородие... Икорки-то покушайте: первого, сударь, багренья, прямо из Уральска... А ты что губы-то распустил, Петрович?.. Что чашки не примаешь?.. Давай еще чаю-то!.. Да мадерцы еще рюмочку, ваше высокородие!.. Кликни Сережу, Петрович!

Сереза, парень лет двадцати трех-четырех, румяный, здоровый, с богобоязненным видом и тихой поступью, робко вошел в комнату. Низко поклонясь, смиренно остановился он у притолки, глядя исподлобья на родителя. Тот сказал ему:

– Сивую в дрожки, савраску в беговые. Ты со мной на савраске поедешь.

Я стал уговаривать Корнилу Егорыча самому не беспокоиться, а отпустить с нами на завод одного Серезу... Взгрустнулось, должно быть, по лежанке Корниле Егорычу, – согласился.

– Парень молодой, – сказал он про сына, – мало еще толку в нем... Оно толк-то есть, да не втолкан весь... Молод, дурь еще в голове ходит – похулить грех, да и похвалишь, так бог убьет. Все бы еще рядиться да на рысаках. Известно, зелен виноград – не вкусен, млад человек не искусен. Летось женил: кажется, пора бы и ум копить. Ну, да господь милостив: это еще горе не великое... не другое что...

Помутился взор Корнилы Егорыча. Помолчавши, вздохнул он и молвил вполголоса:

– На волю божью не подашь просьбы!..

Вошел Сереза.

– Поезжай на завод с господами! – сказал ему отец. – Покажи там все, как оно есть... Слышишь?.. Чего стал?.. Пошел, дожидайся!

Сереза пошел было, но отец, воротив его с полдороги, тихонько молвил ему:

– Митьку в сушильню!.. Слышишь?.. – прибавил он громко.

– Слышу, тятенька!

– Ступай же!.. На крыльце дожидайся... А после заводу, ваше высокородие, просим покорно на чашку чаю. Сделайте такое ваше одолжение, не побрезгуйте убогим нашим угощением.

Сереза, тихий смиренник на отцовских глазах, не таков был на заводе. С нами обходился подобострастно, насилу согласился картуз надеть, но с рабочими обходился круто и к тому ж бестолково. Покрикивая ни за что ни про что, сурово поглядывал он то на того, то на другого, и пятились рабочие и прятались друг за дружку, косясь на толстую, суковатую палку, что была в сильных, мускулистых руках Серезы... Но вдруг какой-то шальной, вывернувшись из-за зольного чана, мазнул его по спине мешалкой, обмакнутой в известковый подзол. Сделав свое дело, поворотил он неровным шагом назад. Рабочие уступали ему дорогу и, казалось, друг другу говорили глазами: «Ай да молодец!..» Увлеченный рассказом, через сколько пересолов проходит яловица прежде квасов, Сереза ничего не заметил. Тот шальной был молодой человек лет под тридцать, в загрязненной, про-

саленной насквозь холщовой рубаше и в дырявых сапогах. Взъерошенная голова, казалось, сроду не была чесана, небольшая борода свалялась комьями, бледно-желтое, худощавое лицо обрюзгло, рот глупо разинут; но в тусклых, помутившихся глазах виднелось что-то невыразимо-странное, что-то болезненно-грустное... Потухающий ум последней, прощальной искрой светился в том взоре.

Мы проходили через отделение, где толкут корье. Неочищенную ивовую кору подбрасывали в толчею. Путевой товарищ мой заметил, что он видел в Бельгии особую машину для скобления корья. Сказал это по-французски.

– Les meilleurs cuirs – maroquins qui se fabriquent...<sup>1</sup>  
– проговорил за нами сиплый голос.

Обернулся Сережа и крикнул:

– В сушильню!

Оглянувшись, увидал я того шального, что вымазал спину Сереже.

– Нейду! – закричал тот задорно. – Ты мне не указ... Наушник!.. Подлец!.. Ты ее погубил!.. Ты убил мою...

– Митька!.. Тятеньке скажу.

Вздрыгнул шальной. Понурился, тихо поплелся он из толчеи, но вдруг быстро обернулся и заговорил

---

<sup>1</sup> Лучшие сорта кожи – марокен, которые выделяются... (франц.)  
(Все примечания, данные в сносках, принадлежат автору.)

умоляющим голосом:

- Сереженька, голубчик ты мой! Дай гривенничек.
- В сушильню!
- Хоть на шкалик!
- Слушай, Митька! – подняв палку, закричал Сережа: – Право, тятеньке скажу!.. Хоть бы при чужих постыдился!.. Сведи его, Федька, в сушильню. На замок.

Митька сам пошел. За дверьми нестройно запел он хриплым басом:

Quand le vin de champagne  
Fait en ecliappant,  
Pan, Pan!  
La douce gaote me gagne...<sup>2</sup>

– А вот здесь дегтем бухтарму после дубов мажут! – говорил в то время Сережа, переводя нас в другое отделение.

---

<sup>2</sup> Когда летит пробка из шампанского... меня охватывает веселье...  
(франц.)

## II

Вечером, сидя у Красильникова, опять я свел разговор на просвещение. Говорил, что купцам ученье необходимо... Заговорил и Корнила Егорыч, сидя за пуншиком.

– Не говорите про это, ваше высокородие... Мне-то не говорите!.. Говорят люди: красна птица перьем, человек ученьем... Говорят: ученье свет, неученье тьма... Врут люди!.. Ученье – прямо мученье, а нашему брату погибель!..

Купец знай читать, знай писать, знай на счетах класть, шабаш – дальше не забирайся!.. Лучше недоучиться, чем переучиться. Ученье-то ведь что дерево: из него и икона и лопата... Аль что ножик: иной его на пользу держит, а наш брат себя ж по горлу норовит... Купцу наука, что ребенку огонь. Это уж так-с, это – не извольте беспокоиться... Много купецкой молодежи промоталось, много и совсем сгнуло, – а все отчего?.. Все от ученья, все моды проклятые, все оттого, что за господами пошли тянуться, им захотели в вёрсту стать. Нет-с, был бы купец смышлен, даром что не учен.

Нынче за наши грехи не на ту статью пошло. Не то что сыновей, дочерей-то французскому стали учить,

да на музыке, плясать. Выучатся дочки, хватъ – ан забыли, которой рукой перекрестить лоб следует... У свояка моего, у Петра Андреича Кирпишникова, дочка ученая есть: имя-то святое, при крещенье богоданное – Матреной зовут – на какое-то басурманское сменяла, выговорить даже грех, Матильда, пес ее знает, какая-то стала... Замуж вышла за дворянина: промотался голубчик, женился – карман починить. Стала дворянкой и пустилась во вся тяжкая: верхом, сударь, на лошади катается... тьфу ты, гадость какая!..

Вот и у меня Митька... Погиб, совсем погиб, пропащий стал человек... А все ученье, все наука... А парень-от какой был разумный, да тихий, смирный, рассудительный!.. Что перед ним Сережка?.. Дурь нагольная, как есть одна дурь!.. Сердце колом повернет, как вспомнишь... Ох ты, господи, творец праведный!..

Да-с, без детей горе, а с ними вдвое... Дал мне господь двух сынов да дочку одну: Митька от покойницы от первой жены, Сережа да Настя от Марьи Андревны. Ну, дочь, известно дело, *чужое сокровище* — холь, корми, учи, стереги, да после в люди отдай... А сын домашний гость – корми его да пой – тебе же пригодится. Да учи его, покамест поперек лавки лежит; вырастет да во всю вытянется, тогда уж его не унять. Худ сын глупый – родной отец к коже ума ему не пришьет, а хуже того сын ненаказанный – он бесчестье отцу...



Легло бесчестье и на мою седую голову!.. Божья воля!..

Смышлен рос Митька, отдал я его здесь в уездно училище. Учился бойко – три похвальных листа получил. Выучился, в гимназию стал проситься, ревет мой парень: пусти да пусти. Думал я ременную гимназию ему в спину-то засыпать, да шурин-покойник уговорил... Пристал, отдай да отдай ему Митю на руки... Попутал меня грех, – послушался... В гимназии Митька учился лет пять и был умен не по годам: летом, бывало, на побывку приедет, – на что у нас пятницей протопоп отец Никанор, и тот с ним не связывайся: в пух загоняет, да все ведь по-латынски... А благочестивый какой был: ни обедни, ни заутрени не пропустит... На крылосе как пел... Голос-от, голос-от какой был!.. А смиренник какой!., что твоя красная девка... И по заводу наострился: ни корья, ни подзола при нем, бывало, фунта не украдут, даром что не был приучен к заводским порядкам... И думал ли я, на него радуясь, что погибнет мой разумник, что покроет он горем старость мою?.. Господи, господи!..

Когда срок ученья ему отошел, был я на ту пору в губернском городе: городским головой служил, к начальству ездил. Стал Митька проситься в Москву, в университет доучиваться. В ногах валяется – плачет: пусти да пусти его еще в ученье. «Врешь, говорю,

Митька, умнее не будешь: не пушу!» – Чуюло родительское сердце!.. А из гимназии когда его выпускали, был он что ни на есть первый ученик, не то что своего брата, барчат всех за пояс заткнул. На экзамент на ихний велели мне побывать, печатный билетец прислали... Митька речь держал по-французскому, качал бойко, только ничего не поймешь. Его превосходительство господин губернатор из своих рук лист да книгу эту пожаловал, да, подозвавши меня, сказал: «У тебя, говорит, Корнила Егорыч, не сын, а звезда». А был на ту пору в нашем губернском городе генерал, над гимназией-то набольший; он, слышь, допрашивал учеников, кто что знает и куда после выучки идти хочет. Полюбись ему мой Митька, бойко, слышь, из книг гораздо ему отвечал. Спрашивает его генерал: чей сын, откуда родом и куда хочет. А Митька ему: «Так и так, ваше превосходительство, сын я первой гильдии купца Корнилы Красильникова, оченно бы хотелось в ниверситет, да тятенька не пускает...» Ладно, хорошо!.. Сижу я у шурина, глядь, губернский лакей на двор, в золоте весь... Что за оказия?.. – «Где, говорит, Корнила Егорыч Красильников?..» – «Здесь, говорю, я самый и есть». – «Ступай, говорит, к генералу обедать». Усомнился я, думаю – прошибся лакей: к другому послали, а он ко мне... Нет, ко мне в самом деле... Честь не малая: сам губернатор обедать зовет: «Ты,

говорит, Корнила Егорыч, приходи моего хлеба-соли кушать». Пошел, благо день-от скоромный был – вторник.

Посадил меня губернатор с собой рядышком; а тут еще сидел генерал, которому Митька-то мой полюбился, да губернаторша, да две барышни – дочери губернатору-то – красовитые из себя, только уж больно сухопароваты. Губернаторша сама изволила мне похлебки в тарелку налить, губернатор из своих рук вином угощал... Вот оно что!.. И стали они меня улещать: «Ты, говорят, Корнила Егорыч, поперек Митьки не ходи: из мальчугана, говорят, выйдет прок – пусти его до конца доучиться». А генерал-от, что его возлюбил, обещал ему заместо отца быть, «как за родным детищем, говорит, пригляжу, баловаться не дам, да и парень-от, говорит, он у тебя не такой, баловником не смотрит...» Сами посудите, ваше высокородие, можно ль тут поперечить им? Два генерала ровно с ножом к горлу пристали: пусти да пусти Митьку доучиться! Губернаторша тоже: «Ты, говорит, Корнила Егорыч, не губи своего детища рожоного, не отымай у Митьки счастья. Бог, говорит, за это тебе не попустит!» Послушался... Больно не хотелось, чуяло сердце... А послушался – потому нельзя: начальство не свой брат – стоя без шапки да переступая с ноги на ногу, много не накалякаешься...

Собрал Митьку в Москву. Марья Андревна хоть не родная мать, а в гору было полезла. И руками и ногами: «Не пушу, говорит, Митеньку на чужу сторонушку...» Да что она?.. Баба, бабе плеть – вот и все... Призвав бога в помощь, Николу на путь, снарядил я Митьку; да на прощанье, перед благословенной иконой, взял с него зарок, чтоб после выучки не ходил он ни в офицеры, ни в приказные, а был бы всю жизнь свою купцом и кожевенным заводчиком. А Митька, ну уж двадцать первой тогда ему шел, на полном смысле значит: «Не бойтесь, говорит, тятенька, никуда не пойду, буду вам на старости печальник, на покон души помянник, а выучусь, буду то и то, заведем мы с вами такое да этакое...» Да уже так красно говорил, что нехотя верилось!..

Четыре года Митька в Москве выжил, учился на первую статью, а в праздники там какие, аль в другие гуляющие дни, не то чтоб мотаться да бражничать, а все на фабрику какую, аль на завод, да на биржу... С первостатейным купечеством знакомства свел, пять поставок юхты уладил мне, да раз сало так продал, что, признательно сказать, мне бы и во сне так не приснилось...

Нашего уезда помещик есть Андрей Васильич Абдулин. Не изволите ль знать? У него еще конный завод в деревне... Тут вот неподалеку от Федяковской

станции, – ехали сюда, мимо проезжали. Сынок у него Василий Андреич вместе с моим Митькой учился и такой был ему закадычный приятель, ровно брат родной. Митька у господина Абдулина дневал и ночевал: учиться-то вместе было поваднее... Ох, пропадай эти Абдулины! Заели век у старика, погубили у меня сына любимого!..

Отучился Митька, дали ему медаль золотую: не то чтоб на шею, а так, карманную... И в газетах пропечатали: «выучился-де такой-то Дмитрий Красильников в кандидаты»... Домой приехал, заводом занялся: то уладит, другое переменит, то чан, зольник, то другое что. Спервоначалу-то я было побаивался: испортит, думаю. Нет: восемь копеек лишков на сале взял, семь копеек на юхте. А все его разумом да старательством. Отец ведь, кажись, отец, а – сыну родному позавидовал... Вот каков был умница!.. А бережливый какой!.. Только и изводил деньги, что на книги... Бывало, как месяц прошел, так из Москвы короб с книгами ему и шлют.

Пожил Митька у меня месяцев с восемь. Андрей Васильич Абдулин той порой на теплые воды собрался жену лечить. Ехал в чужие край всей семьей. Стал у меня Митька с ними проситься. Что ж, думаю, избным теплом далеко не уедешь, печка нежит, дорога разуму учит, дам я Митьке партию сала, пушай про-

даст его в чужих краях; а благословит его бог, и заграничный торг заведем!.. Тут уж меня никто не уговаривал – враг смутил!.. Захочет кого господь наказать – разум отымет, слепоту на душу найдет!..

Три года ездил мой Митька, продавал юхту бродским жидам, по салу с самим Лондоном уладил дела... Большие пошли барыши – в три-то года рубль на рубль нажил я!.. Не нарадовалось сердце!.. Экой сын-от, думаю... На что московские купцы, и те завидовали... Всем стал знаем мой Дмитрий Корнилыч Красильников. А я? Чем бы бога благодарить, колокол бы вылить аль иконостас поставить... согрешил, окаянный, возгордился – барыши стал считать да сыном хвалиться!.. Думы-то были за морями, а горе за плечами!.. Где теперь мой разумник? Чем теперь похваляюсь?.. Не родиться б ему!.. Дай-ка мне пуншу, Петрович, да крепче налей!..

На четвертый год воротился из-за моря... Господи, что было радости!.. Письма от купцов заграничных привез: товару просят, Митьку хвалят. Замышляли мы с ним свой корабль снарядить, да еще бы года три-четыре побыл у меня Митька в разуме, два снарядили бы... Думали в Питере контору открыть, дом купить, загадывали в Лондоне приказчика держать... И все тогда казалось мне таково сбыточно, как вот теперь стакан пуншу выпить... Ан нет... людское счастье, что

вода в бредне! Величался почетом своим, величался сыном разумным и не знал никого счастливее себя!.. Все суета... В море потоп, в пустыне звери, в мире беды да напасти!..

Двадцать девятый Митьке пошел: давно пора своих детей наживать. Правду говорят, что и в раю тошно жить одному. Семейная каша погуще кипит, а холостой век проживет да помрет – собака не взвоят по нем...

За невестами дело не стало бы: рот разинь – из любого дома бери... Первостатейные, мильонщики, фабриканты сами с дочками напрашивались, сами письма писали. И стал я Митьке советовать: пора-де тебе и закон совершить... Только выбирай, говорю, жену не глазами, а ушами, слушай речь, разумна ли, узнавай, в хозяйстве какова. С лица не воду пить: красота приглядится, а щи не прихлебаются. А пуще всего смиренство да разум: это на всю твою жизнь пригодится. На богатство не зарься: у самих, слава богу, довольно. Приданое что? В потраве не хлеб, в долгах не деньги, в приданом не животы...

Говорю этак Митьке, а он как побледнеет, а потом лицо все пятнами... Что за притча такая?.. Пытал, пытал, неделю пытал – молчит, ни словечка... Ополовел индо весь, ходит голову повеся, от еды откинулся, исхудал, ровно спичка... Я было за плеть – думаю, хоть

и ученый, да все же мне сын... И по божьей заповеди и по земным законам с родного отца воля не снята... Поучу, умнее будет – отцовски же побои не болят... Совестно стало: рука не поднялась...

Той порой из чужих краев Андрей Васильич воротился. Дом купил в городе, рядом со мной. Митька там и днюет и ночует, от дела даже отстал, придет на завод – смотрит в оба, а не видит ничего. А рабочие, сами изволите знать, народ бестия – тотчас смекнули и давай добро по сторонам тащить... Да что завод?.. Пропадай он пропадом, огнем гори, сгинь все, что нажито!.. Митька-то разум терял – вот где напасть-то!.. Кровавыми слезами ее не вымоешь!.. Верите ль богу? Старик я, старик, а плакал, бабой ревел и ему, сыну-то своему, рожденью-то своему, покорился!.. Да, покорился... Слезами обливаюсь, упрашивал, умоливал его рассказать про кручину, что его одолела!.. Не вытерпел слез моих Митька – сказал!.. Лучше б на ту пору язык у него отнялся!.. Пуншу, Петрович!.. Да лей рому побольше, собака!..

Немка жила у Андрея Васильича, за дочерью ходила. По найму жила, полторы тысячи ассигнациями ей давали... Девка безродная, откуда – бог весть, так, шаверь какая-то!.. А веры ихней еретицкой, не то люторской, не то папешской – да это все равно – такая ли, сякая ли, одна нехристь... Митька и бух мне: за мо-



рем-де слюбился с нею и окромя ея ни на ком в свете не женится... Так меня варом и обдало!.. В землю бы лег, гробовой бы доской укрылся, только бы этих слов не слышать!.. «В уме ль?» – говорю. А он свое!.. Корнями обвила, еретица, на богатство польстившись!.. Да чтоб этому быть, чтоб я сам себе бороду оплевал!.. Да весь мой род переведись!.. По миру пойду, на гноище середь улицы лягу, а такого срама не возьму на себя, не возьму покора от роду, от племени!.. «Слушай, – говорю Митьке, – вот тебе счеты: поезжай в Коренную, оттоль прямо в Нижний к Макарью, по осени в степь за скотом». Проветрится, думаю, дурь-то вытрясет. «А поедешь, говорю, Москвой, побывай у Архипа Иваныча Подколесникова, у него дочка не немке чета: тоже на всяких языках говорит, в купеческом собрании пляшет, а на музыке позакатистей немки играет... А главное – благочестивых родителей дочь, не еретица поганая...» Митька было перечить, а я ему: «Слушай, говорю, хоть ты и барином глядишь, а воля с меня не снята: возьму варовину – не пеняй!» Замолчал.

Вечером Андрей Васильич пришел ко мне. Спервоначально так себе о том, о сем покалякали. Потом речь на немку свел, хвалит ее пуще божьего милосердия. Я слушаю да думаю: что еще будет! Говорит, она-де и креститься может; господа-де женятся же на немках. Смекнул, к чему речь клонит, говорю ему: «Господам

и воля господская, а нашему брату то не указ. Вы мой гость, Андрей Васильич, грубой речи вам не молвлю, а перестанем про еретицу толковать... ну ее к бесу совсем!» «Да мне, говорит, Димитрия Корнилыча жалко».

«Вам, говорю, жалко, а мне вдвое жалчей: я ведь отец, хоть детское сердце и в камне, да отцовское в детках... Да знаете, говорю, Андрей Васильич, русскую поговорку: «Свои собаки грызутся, чужа не приставай». Замолчал.

Митька всю ночь проревел. Я уж дал волю... Проревется, думаю, легче будет. Самого меня от хлеба откинуло: отец ведь, каков ни будь сын – все болезнь утробы моей!..

Путру в сад я пошел. Обрезаваю с яблони сухие сучья у самого абдулинского забора. Слышу, Митькин голос!.. Припал ухом к забору – и ее голос!.. Говорят не по-русски!.. Из моего-то сада калитка тогда была в абдулинский сад – я туда. Свету не взвидел... Митька с немкой обнявшись сидят, плачут да целуются!.. Увидавши меня, бежать шельма, – знает кошка, чье мясо съела... А Митька в ноги... «Батюшка, говорит, мы ведь повенчаны!!»

Остамел я, услышавши срамоту на мою седую голову... Зелень в глазах заходила, к сердцу ровно головня подкатилась!.. На лежанке очнулся, не помню, как

и добрел!.. Выдался денек! Пять лет на кости накиннул!.. Андрей-от Васильич хорош!.. Приятелем звался, хлеб-соль водил, денег когда займовал, а у Митьки на свадьбе в посажёных был!.. Где-то за морем, пес их знает, свадьбу сыграли... Без моего-то ведома, без родительского благословения!.. Вот они, друзья-то!.. За наше добро нам же рожон в ребро!.. Да и теперь на меня во всем вину валит! Сына, слышь, я погубил! Сами посудите, ваше высокородие, чем же я туг причинен, чем виноват?.. Ведь я отец – а ведь и змея своих детей бережет?.. Ученье всему виной, ученье!.. Не я ж в самом деле!.. Еще, слышь, Сережка да Марья Андревна на Митьку-де мне наговаривали!.. Как же!.. Не догадался б без них!.. Так вот!.. Язык-от без костей!.. Вот что...

На другой день иду от ранней обедни – немка встречу. Не стерпело – зашиб: ударил маленько. Откуда ни возьмись Митька – отнимать ее... Сердце меня и взяло: его в сторону, немку за косу да оземь... Насилу отняли... Уж очень распалился я...

Тяжела, видно, свекрова рука пришлась!.. Зачахла. Месяцев через восемь померла. Ха-ха-ха!.. Слава богу, думаю, теперь у Митьки руки развязаны, поревет-поревет, да и справится... Быль молодцу не укора, будет опять человек... Да беда не живет одна: ты от горя, оно тебе встречу; придет чаша горькая – пей

до дна...

На другой день похорон пришел Митька домой... Господи батюшка!.. Никогда этого за ним не важивалось!.. Вот оно где, горе-то неизбывное!.. Митя, мой Митя!..

Крепись, Корнила!.. Терпи, голова, благо в кости скована!.. Эх, изведал бы кто мое горе отцовское!.. Глуби моря шапкой не вычерпать, слез кровавых родного отца не высушить!.. Пуншу, пуншу, Петрович!..

– Что ж потом случилось с ним? – спросил я после долгого молчания.

– Не пытайте отца!.. Горько!.. Упился я бедами, охмелился слезами!.. Петрович! лей до краев!..